

Советские дети и проблема насилия: миф о пионерах-героях

Тема насилия, что немаловажно, может воплощаться в различных явлениях культуры двояким образом.

Ева Рапопорт

Это совсем не обязательно история о мускулистом, вооруженном до зубов или обладающем некими сверхспособностями герое, который силами собственного тела и духа стремится восстановить кем-либо поправленную справедливость (под эту характеристику, кстати, в равной мере подходят как персонажи, например, Брюса Уиллиса, так и, скажем, библейский Самсон). Другой вариант сюжета с насилием — это история жертвы, по отношению к которой насилие, собственно, и совершается. И если исходить именно из такой постановки проблемы, то проявления темы насилия можно обнаружить и в весьма неожиданных, как бы это казалось, местах. Например, в тех пластах советской культуры и сопутствующей ей мифологии, которые были адресованы даже не взрослым, а подросткам и детям. Речь здесь пойдет о так называемом культе пионеров-героев — том самом архетипическом советском сюжете, в котором о насилии повествуется как раз с точки зрения жертвы.

Образ пионера-героя имеет значительное сходство с фигурой христианского мученика (по-своему в пользу подобного утверждения говорит, например, такой факт, что в наше время на месте захоронения Павлика в день его смерти проводятся православные службы).

Несмотря на то, что за последние два десятилетия уже успели вырасти и найти свое место в жизни, даже несколько поколений людей, которые пионерами не были, сама пионерская тема и до сих пор продолжает периодически подниматься (в театре, например, или в кинематографе) либо служит объектом для культурологических и иных исследований. А это значит, что миф (само бытие которого — в его постоянном воспроизведении) до конца не умер

и по-прежнему требует определенной рефлексии. Тем более, если в наше время вновь, причем на централизованном уровне возникают попытки возрождения прежних традиций существования молодежных организаций, не лишне в полной мере отдавать себе отчет в том, что за этими традициями стояло.

В отличие от повествований о героях античности, для которых трагическая смерть была непрямым условием их героизма, среди жизнеописаний выдающихся пионеров встречались и истории со счастливым концом. Но наибольшим авторитетом и популярностью пользовались, конечно, те дети, кто, совершая свой подвиг, погибал в результате от рук врагов. И первой по значению фигурой во всем сформированном вокруг данной мифологии пантеоне был, разумеется, Павлик Морозов. Его история, что примечательно, по сути своей вымышленная, послужила образцом для многих других похожих историй. В центре подобного сюжета жизнь и смерть одного ребенка, отличающегося (пока жив) всеми лучшими (с точки зрения советского общества) личностными качествами, и совершающего в конечном итоге подвиг, величие которого особо подчеркивается именно тем образом, что решительный и смелый поступок приводит к гибели самого пионера, но неизменно ведет к торжеству в целом советской власти. В качестве главных врагов, с которыми пионеры вступали в единоборство, рисовались, как правило, шпионы, фашисты или же кулаки (в зависимости от того, шла речь о временах Отечественной войны или коллективизации, соответственно).

Каждый конкретный миф о пионере-герое, как и всякий миф вообще, получал ряд различных художественных интерпретаций: о подвигах советских детей писались стихи, песни, рассказы, ставились пьесы и даже фильмы. И хотя формировались все истории на основании газетных заметок, право называть их мифами и рассматривать именно в этом качестве дает тот факт, что по большей части трагические истории были вымышленными, а соответствовало в них реальности (хотя попадались и сюжеты от начала до конца сфабрикованные) самое большее то, что герой действительно жил и действительно умер. Как в случае с Павликом, который по одной из версий даже пионером никогда не был и пионерского галстука своими глазами не видел. Не лучше обстоят дела и с достоверностью центрального в морозовском мифе эпизода с доносом на отца, который, прежде избивавший жену и детей, к тому времени уже имел другую

семью, то есть, во-первых, не мог быть в глазах Павлика отцом во всех положительных смыслах — в результате чего теряется пафос морального выбора в пользу советской власти, а не родителя, во-вторых, становится крайне сомнительным, что бы сын, живя не с отцом, а отдельно, мог увидеть, как тот приносит домой полученные от кулаков в обмен на поддельные справки вещи, — что и послужило, по официальной версии, поводом для доноса.

Нельзя сказать, что кроме истории о Павлике (которого, кстати, в жизни даже Павликом не называли, а все звали Пашкой) и аналогичных ей, не существовало сюжетов, строившихся не по принципам: добродетельная жизнь перед подвигом-подвиг-гибель. Бытовали так же рассказы о пионерах, помогавших предотвратить техногенную аварию или, например, сумевших спасти из огня или из проруби другого ребенка. В таком случае все заканчивалось вынесением благодарности пионеру. Но подобный вариант мифологеми предполагал куда меньшую степень героического пафоса и почти не имел специфически советского идеологического содержания. Истории о выдающихся поступках детей встречались и в дореволюционной России, тогда как именно истории о жизни и смерти пионеров-героев в определенном смысле представляли собой совершенно особый культурный феномен.

Однако, с другой стороны, как нетрудно заметить, образ пионера-героя имеет значительное сходство с фигурой христианского мученика (по-своему в пользу подобного утверждения говорит, например, такой факт, что в наше время на месте захоронения Павлика в день его смерти проводятся православные службы). Аналогия между советскими и христианскими мучениками вполне очевидна, но есть и принципиальные различия в этих двух вариантах мифа. История религиозного мученика, несмотря на свою трагичность, — это всегда история личной победы. Пройдя через все страдания, святой обретает не только спасение души и вечное блаженство, но и некий совершенно особый статус в небесной иерархии, которого не удостоиваются рядовые праведники, пришедшие к райским вратам не таким тернистым путем. Однако в контексте опирающегося на марксизм-ленинизм мировоззрения все это выглядит как чудовищная метафизика, потому что советский, материалистически мыслящий человек если и умирал, то умирал «насовсем». Так что смерть пионера-героя, соответственно, подразумевала только торжество коллективной идеи, а фигура само-

го пионера обретала статус достойного подражания образца для следующих поколений. Это не значит, что каждый христианский мученик претерпевал пытки и издевательства только ради собственного спасения, идеологическая составляющая в этом тоже присутствовала, хотя в полном смысле за всех и за идею умер один Христос. Советское же общество, как получается, требовало от своих детей большего, нежели это делало христианское вероучение, а именно — повторения все того же, почти двухтысячелетней давности подвига, но при этом совершенно ничего не обещающая взамен. Потому как посмертная слава — это явление еще более эфемерное и сомнительное, чем идея души, отвергаемая материалистическим мировоззрением.

Советское общество требовало от своих детей большего, нежели это делало христианское вероучение, а именно — повторения все того же, почти двухтысячелетней давности подвига, но при этом совершенно ничего не обещающая взамен.

Здесь, таким образом, мы можем усмотреть и другую совершенно специфическую форму насилия — насилия со стороны идеологии по отношению к тем, кто всецело ее разделяет. Опять же, даже если обратиться к более близким аналогиям: солдат на войне, когда погибал, погибал как бы в целом за родину, за своих близких, друзей и даже прочих совершенно незнакомых ему соотечественников, а в отдельных случаях непосредственно спасая своих боевых товарищей. Поступок же пионера-героя (если говорить в первую очередь о тех, кто, как Павлик, совершал свои подвиги в мирное время) не всегда и совсем не обязательно был направлен на то, чтобы сохранить чьи-либо жизни. В чем, собственно, состояла вина Морозова-старшего? — только в том, что он не способствовал организации колхоза в родном селе и выдавал кулакам поддельные справки. То есть своими руками он никого не убивал или, например, не провоцировал, возникновения голода. Так что, в результате выходит, что жизнь Павлика (в ее мифологизированной интерпретации) не была обменена ни на чью другую, а гибель его способствовала только абстрактному укреплению совершенно абстрактной по сравнению с уровнем индивидуального человеческого бытия советской власти.

Но это, так сказать, телеологический аспект мифа о пионере-герое. А важно отметить не только это, но и спец-

ифику той, говоря современным языком, целевой аудитории, которой этот миф в первую очередь адресовался. С одной стороны, идеологический посыл был именно таков, что каждый пионер должен, если возникнет необходимость, поступить подобно уже канонизированным героям, с другой — все истории детей-мучеников восходили к первым десятилетиям существования советской власти (несколько другой, но тоже особый статус имеют только истории, относящиеся к периоду Великой отечественной войны), когда социалистическое общество находилось еще в стадии становления — то есть тому мифологическому времени творения мира, когда только и могли жить боги, чудовища и герои. Воспроизводиться же миф продолжал и в 50-е, и в 60-е годы (и далее, постепенно теряя свое значение, вплоть до конца 80-х), когда универсум был уже целиком создан, вещи получили свои имена, а в услугах героев больше не было необходимости. То есть подражание канонизированным пионерам уже не могло быть буквальным, общество, по большей части избавившись от главных своих внутренних врагов, впредь не требовало от детей из ряда вон выходящего подвига, а только добропорядочности, лояльности, прилежности, успехов в учебе (в этом смысле пионеры-герои тоже могли служить прекрасными образцами). Миф же о них продолжал свое существование уже в качестве истории (и в литературном, и в документальном смысле), истории принципиально адресованной детской аудитории, истории, в виде своего необходимого элемента содержащей насилие. При этом очевидно, что абсолютно без деталей и без подробностей этого самого совершаемого насилия невозможно было бы оценить силу духа героя и величие его подвига. То есть жестокие подробности, так или иначе, но были, хотя их описание и служило несколько другой, нежели в современной массовой культуре, цели.

В любом случае, в свете вышесказанного нельзя утверждать, что мир советского ребенка был расцвечен только светлыми красками (каким он рисуется в советском детском кинематографе и в советских мультфильмах), а все связанное с жестокостью и насилием, обрушилось на ни в чем неповинных детей с Запада, когда не стало больше столь благотворного для детской психики железного занавеса. Что-то свое в советском обществе уже было, хотя и в очень специфических, как всегда, формах. Настолько специфических, что в общем-то трудно считать сюжет первого, как его стараются называть, российского аниме «Первый отряд»,

повествующего о борьбе с оккультными силами Третьего рейха призванных с того света пионеров-героев (каждый из которых, по утверждению сценаристов, имеет «реальный» прототип в мифологии советского времени), большим кощунством по отношению ко всей семидесятилетней советской истории, чем сами мифологизированные истории пионеров-мучеников по отношению к реальным событиям жизни и смерти канонизированных в результате детей. ❏

Вербальная агрессия: мода или винтаж

С кандидатом филологических наук, доцентом РГГУ Т.В. Базжиной об особенностях коммуникации в политической и бытовой сферах в России беседует студентка факультета Истории, политологии и права РГГУ Мария Шишкина.

Татьяна Вадимовна Базжина,
кандидат филологических наук, доцент РГГУ.

¹ Культурный феномен социальной дискредитации субъекта посредством адресованного ему текста [Энциклопедия постмодернизма, 2001].

Многие более-менее культурные люди, которые следят за политической жизнью нашей страны, не перестают удивляться тому, как выстраивается коммуникация в политическом поле. Создается впечатление, что агрессивность является неотъемлемой чертой российского общественно-политического дискурса. В чем может быть причина этого явления?

Т. Б.: В нашем политическом общении действительно есть своя специфика. Наиболее часто применяемый в политической среде аргумент — «с умишком, видать, у тебя слабовато». Такая аргументация в любом споре, и прежде всего политическом, есть не что иное, как инвектива¹. Это апелляция к личности оппонента, а не к содержанию сказанного им. А любая аргументация ad hominem, то есть любое оскорбление или обвинение, свидетельствует о том, что обвиняющий сам не владеет системой логической аргументации. Хотя